Лит. Россия. — 1994. — 2 сент. — с. 12—13.

«Подлинно русская духовная жизнь...»

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА ОБ АНДРЕЕ ПЛАТОНОВЕ

Судьба Андрея Платонова в прижизненной литературной критике, особенно в 1930-е годы, была поистине несчастной. В 1931 году за повесть «Впрок» он был назван «классовым врагом». В 1934 году за «мрачность» и «пессимизм» М. Горький советовал отложить его произведения до «будущего» времени. Он высказывал это в частных письмах. Зато в 1937—1941 годах официозные критики кричали о пессимизме Платонова со страниц центральных газет и журналов. Они лишали Платонова даже надежды на будущее внимание потомков. Писатель мужественно отвергал эту критику, презрительно называя ее «механической записью на идеологической пленке». Конечно, у него были и единомышленники, но они отличались непоследовательностью или не имели доступа в печать. При жизни писателя только в статье Г. Адамовича «Шинель», появившейся 11 и 18 мая 1939 года в русской парижской газете «Последние новости», была дана доброжелательная и точная оценка его творчества как выражения «русской духовной жизни». Это случилось потому, что философия гуманизма, уходящая корнями в традиции Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, была мировоззренческим стержнем этической позиции и деятельности как Платонова, так и Адамовича. К сожалению, с тех пор эта статья оставалась вне поля зрения почитателей таланта Платонова. Печатается с сокращениями, главным образом обширных цитат из известных рассказов писателя.

Георгий АДАМОВИЧ

ШИНЕЛЬ

1.

Андрей Платонов.

Имя это мало кому известно в эмиграции. Утверждаю это с уверенностью, проделав на днях нечто вроде устной анкеты и убедившись, что о самом существовании такого советского писателя почти никто у нас не знает. Отчасти, что скрывать, виновата критика: почему-то Андрей Платонов остался вне ее «поля зрения». Но ведь иногда и помимо критики, даже вопреки ей, книга получает распространение. С книгами Платонова этого не случилось. Им у нас не повезло, хотя в качестве свидетельства или документа они представляют интерес первостепенный.

Недавно в Праге состоялись два длительных и довольно сумбурных литературных совещания, о которых в нашей газете были отчеты.[1] Говорили о многом: о мастерстве, об ответственности, о вреде излишней «аллилуйщины»— ходкое теперь советское словечко— в отношении писателей-сановников, вроде Ал. Толстого, выдающих всякую дребедень за шедевры о новом человеке и новом гуманизме. Несколько раз было упомянуто и имя Андрея Платонова, и каждый раз чувствовалось, что вместе с ним задевается тема, многих в России по-настоящему волнующая, острая, болезненная, но по самим условиям времени не вполне поддающаяся обсуждению.

Андрей Платонов пишет и печатается лет двенадцать.[2] Первый рассказ его, который мне случилось прочесть, называется «Третий сын»,— и вместо дальнейших рассуждений лучше, мне кажется, передать вкратце его содержание: тогда станет ясно, почему о писателе этом зашла речь.

На похороны матери, в провинциальный городишко, съехались шесть молодых людей — братьев. «Двое из них были моряками, командирами кораблей, один — московским артистом, один — физиком, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство». Старуха очень любила сыновей и даже приказала мужу похоронить ее без священника, чтобы их «не обидеть». Паникиду отслужить до их приезда, а потом пусть будет «по-ихнему, по-новому»! Вечером, накануне похорон, братья собрались спать, все в одной комнате. Матери им очень жалко, они сознают, что потеряли человека, который с радостью отдал бы за них жизнь. Но молодость мало по малу берет свое. Братья давно не виделись, они начинают беседовать, расспрашивают друг друга о работе, о службе, обмениваются шутками, вспоминают былые детские игры, смеются. Один из них, третий сын, молчит. Его смущает беспечность остальных. Он идет в соседнюю комнату и наклоняется над открытым гробом матери. Тишина. Что думает юноша — неизвестно. Платонов этого не сообщает. Но когда в тут же висящей клетке вздрагивает и чирикает во сне птица — он вздрагивает тоже и падает в глубокий обморок.

К каждому писателю можно обратить традиционный вопрос: что вы хотели в вашем произведении сказать? — хотя далеко не всегда на этот вопрос можно без затруднения найти ответ. Что хотел сказать в своем «Третьем сыне» Платонов? Никакого осуждения пяти весельчаков у него нет, да и не за что их в самом деле было осудить. Они хорошие, сердечные, простые люди, а если скорбь о матери не убила в них бодрости, то кто же не знает, что вопрос лишь времени, и рано или поздно жизненная энергия справится со всяким горем? «Умер, утешится жена...» Истина старая, вечная, согласны мы с ней или нет. Но в том-то и дело: согласны мы с ней или нет? Третий сын, как-будто не согласен. Его потрясает безразличие, его возмущает та «равнодушная природа», о которой писал Пушкин. Он лишается сил не только от горестного волнения, охватившего его при виде смерти, но и от ужаса, который ему внушает жизнь. Он никого не упрекает, он озадачен, удивлен, он не знает, как все это сладить и примирить. Что же, старая, набожная мать, даже оказавшаяся от горькового погребения рада сыновей, умерла,— а они, сыновья, любящие ее, по-своему ей преданные, что же, они могут в двух шагах от ее гроба шутить, и это — жизнь, естественная, нормальная, не заслуживающая никакого возмущения? Так устроен человек, мнящий себя «образом и подобием Божиим», — и сознавая, что он так устроен, человек не содрогнется?

Об этом могли бы побеседовать и другие братья, не советские моряки и инженеры, а другие, у Достоевского, в трактире, при обсуждении того, какой ценой стоит купить гармонию и какая цена чересчур велика? Что, что Платонов никакого ответа не дает, доказывает, что он глубоко и правдиво схватил неразрешимость таких недоумений, «проклятость» таких вопросов. Для писателя, выросшего в обстановке, где все считается объясненным, это — смелость неожиданная! Платонов ни в малейшей степени не контрреволюционер. Наоборот, его третий сын — идеальный коммунист, и он именно ему, как идеальному коммунисту, старается приписать черты, которые, по-видимому, считает особенно высокими и значительными. Но согласимся, от энтузиастов-ударников и восторженных смотрителей детских садов мы бесконечно далеко. Тут иначе поставлена тема и есть, так сказать, о чем говорить.

После «Третьего сына» я прочел, кажется, все, что Андреем Платоновым написано. Впечатление осталось сильное, даже исключительное, поразительное,— хоть и несколько однообразное. Но сомнения насчет размеров художественного дарования Платонова не должны бы отвлекать внимание от содержания его творчества. Дарование это, впрочем, несомненно,— только надо раз навсегда принять за правило: художественная одаренность, при тех условиях, которые создались в России, не имеет решающего значения! Леонов, например, очень даровит,— но кому эта даровитость нужна, если и волк и ум у него напоминают какую-то вату, принимающую любые формы при малейшем давлении?[3] Еще даровитее Ал. Толстой,— но на что его талант идет? Какая польза, какой смысл в том, что в каком-нибудь ничтожном и насквозь лживом «Хлебе» прекрасно описана весенняя южная ночь? Ну, прекрасно написана — а дальше? Неужели искусство можно свести к тому, чтобы сравнить мигающую звезду с голубоватой, махровой гвоздикой и этим удовлетвориться? Звезду с гвоздикой может сравнить и Платонов, не так роскошно-блестяще, пожалуй, как привычной рукой «большого мастера» сделает это Ал. Толстой, а скромнее, сдержаннее... Но не будем сейчас говорить о нем как о художнике! Для нас гораздо интереснее Россия, русская литература в целом, чем вопрос о изобразительном даровании отдельного писателя, и ограничимся сегодня именно тем, что у Платонова особенно важно.

«Если враг не сдается, его уничтожают»— вариация на известную тему «падающего толкни!» Искажения марксизма оказываются этически родственными искажениями нищеанства,— чему, кстати сказать, сейчас много примеров не в одной только литературной области! Среди беллетристов, усердно разрабатывающих общеобязательные темы «классовой беспощадности», Платонов развернул единственную в своем роде панораму бедствий, страданий, горя, нищеты, тоски... Все знают знаменитые слова о том, что русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Казалось, последние двадцать лет их можно произнести только в насмешку. Но вот с Платоновым они опять приобретают значение, и мучительно-тяжкое соединения того, что ему подсказывает совесть, с тем, чего требует разум, Платонов один отстаивает человека от пренебрежительно-безразличных к нему стихийных или исторических сил.

2.

Платонов далек, конечно, от открытого противодействия горьковским настроениям. Нередко он как будто и соглашается с ними. Но замечательно то, что оживяется он исключительно при виде несчастий, а тем ищет таких, что «во избежание недоразумений» ему приходится ставить подзаголовок: «рассказ из «старинного времени»— чтобы никто не подумал, Боже упаси, что нечто подобное возможно и теперь, в эпоху красивой, веселой жизни.

О людях взрослых писать сейчас в России трудно. Рассказывая о детях, Платонов свободнее, и потому, вероятно, особенно охотно перестраивает на детский лад некрасовскую тему «в муках мы мать вспоминаем». Его сироты — один другого принуждаемые в своем стремлении к любви, и автор умышленно ищет таких положений, таких жизненных сочетаний, где одно только любовное участие и может еще что-то спасти или хотя бы скрасить.

Если Платонов и расстается с детьми, мироощущение его остается тем же. Пленная персиянка плачет в мертвой, выжженной солнцем пустыне среди чужих людей — и вспоминает родину, которой никогда больше не увидит. Жена советского механика Фрося — для шику именующая себя Фро — плачет о муже, уехавшем на Дальний Восток, и не может найти себе места. Молодой солдат Никита Фирсов, женившийся скорее из жалости, чем по страсти, мечтает о самоубийстве,— а не будучи в силах покончить с собой уходит из дому и бродит, как нищий.[4] Возможности благополучия в жизни Андрей Платонов ничуть не отрицает, но оно его не интересует.

Сложись такой писатель в иной среде, внимание к нему было бы, конечно, обусловлено размерами его художественного дарования. Скажем еще раз: существование такого творчества в России — факт значительный сам по себе, независимо от таланта Платонова (талант этот представляется мне бесспорным, но чуть-чуть тусклым или не вполне развившимся, не знаю сколько Платонову лет). У нас так мало данных, чтобы судить о том, какова подлинно русская духовная жизнь, что приходится довольствоваться даже намеками,— а тут не намеки, тут нечто настойчивое, внятное и отчетливое. Может быть некоторых здешних читателей даже покоробит чрезмерная чувствительность Платонова, чрезмерное его пристрастие к уродству и горю. Но надо же помнить, на каком фоне возникли эти писания, чем они окружены! Там, в России, меры в чувствах требовать нельзя, и по тем беседам, которые там о Платонове ведутся, вполне вероятно предположение, что там отдают себе отчет, какому расширению поддаются платоновские темы, как они близко касаются всего, что революцией, по ремизовскому выражению, «взвихрено»! Позиция Платонова укреплена тем, что он с революцией не борется, он с ней сотрудничает. Он мог бы сослаться на Пушкина, которого с таким воодушевлением чествовала недавно вся страна: в противоположность «уничтожению нездающегося врага» он напоминает все о той же «милости к падшим», правда, без точек над i, «без политики», так сказать. Но достаточно ясно, чтобы его нельзя было не понять! За двадцать лет существования советской России Платонов — единственный писатель, задумавшийся над судьбой и обликом человека страдающего, вместо того, чтобы воспевать человека торжествующего, притом торжествующего любой ценой.

Кстати, с Пушкиным у него особая связь, и не случайно назвал он его «нашим товарищем», отнюдь не впадая в обычное развязное панибратство и хлопанье великого поэта по плечу.[5] Для него Пушкин — друг, а почему это так, становится ясно из разбора «Медного всадника».

Как известно, в России принято теперь толкование пушкинской поэмы, согласно которому в ней «общественное побеждает личное». Толкование это было распространено давно и широко, но Луначарский придал ему соответствующие новым взглядам формы.

Платонов не развенчивает Петра, но выступает за Евгения, который, по его утверждению, «для Пушкина великий этический образ, может быть, не менее Петра». Петр не побеждает и не может победить Евгения. «В преодолении низшего высшим никакой трагедии не было бы! Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой... В повести Пушкина нет предпочтения ни Петру, ни Евгению. Они равносильны. Они произошли из одного источника жизни, но они незнакомые братья... Что было бы, если бы Параша осталась жива? Для Евгения весь мир ограничился бы грубым жилищем. А Петр? Он весь мир превратил бы в чудесную бронзу, около которой *дрожали бы различные, потерявшие друг друга люди»* (подчеркнуто мною. — **Г. А.**).

В мыслях о «Медном всаднике» едва ли не ключ к писаниям Платонова. Он, может быть, не думает, что «все действительное разумно», но убежден, что все «действительное трагично». Для советского писателя это открытие, и, естественно, открытие это внушило ему предпочтение к черной краске перед белой. Оно же помогло ему уловить в окружающем то, мимо чего рассеянно и самодовольно прошли люди, пытающиеся представить жизнь, как иллюстрацию к партийным тезисам.

Предисловие, примечания и публикация В. ПЕРХИНА

---

[1] Имеются в виду дискуссии о задачах литературной критики, начавшиеся осенью 1938 года и обострившиеся в начале 1939 года на собраниях писателей в связи с окончанием XVIII съезда ВКП(б). В свете его решений творчество Платонова представлялось особенно нежелательным.

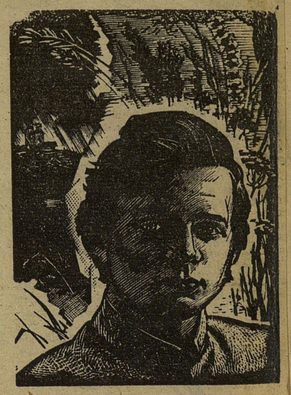
[2] В 1927 году вышел первый сборник рассказов Платонова «Епифанские шлюзы».

[3] Эта реплика не отражает истинного сложного отношения Адамовича к творчеству Л. М. Леонова. Критик опубликовал в 1930-е годы несколько статей о романах и пьесах Леонова. Поддерживая его талант, критик был против сближения писателя с горьковской программой преображения страны и уступок политическим руководителям. При этом он всегда отмечал, что Леонов — «поэт», что его творчество» «глубже и шире политически четких понятий».

[4] Здесь перечислены персонажи и ситуации рассказов «Такыр», «Фро», «Река Потудань».

[5] Здесь и далее критик говорил о статье «Пушкин — наш товарищ» (Литературный критик, № 1, 1937).

1 сентября — 95 лет со дня рождения Андрея ПЛАТОНОВА



ОБОГНАВШИЙ ВРЕМЯ

При жизни Андрей Платонович Платонов (1899—1951) был гоним и хулим. За неукротимую преданность правде и одержимое служение истине.

Причудливо-привередливой оказалась и посмертная слава писателя.

Четверть века назад, когда часть произведений Андрея Платонова вошла в читательский обиход, писателя с некоторой робостью начали именовать известным, через десятилетие, когда эти произведения утвердились в сознании как явления огромной художественной силы, Платонов получил титул выдающегося. И вот теперь, после публикаций «Котлована», «Ювенильного моря», «Чевенгура», заговорили уже о великом русском писателе, о национальном гении, обогнавшем свое время.

«Никто, никогда не смог бы предположить, что русским языком, его словом, его фразой, его изучением и смыслом можно воспользоваться так, как воспользовался Андрей Платонов. Теоретические построения и предсказания, которые выявили бы потенциальные возможности языка,— это под силу только гениальному практику-писателю. Таким практиком оказался Платонов, он создал новый стиль, которому никто не предшествовал, который вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь повторит, тем более — разовьет. Платонов — неповторим. Он — единственный— так сказал Сергей Залыгин, и трудно с ним не согласиться.

Но и нынче, когда, кажется, мы вправе толковать об основательном знакомстве с творчеством автора «Чевенгура», все-таки следует признать: впереди нас еще долго будут «преследовать» новые и новые открытия Платонова-художника и Платонова-мыслителя, ибо всякий раз, перечитывая его, наталкиваешься на неожиданности, заставляющие переосмысливать, казалось бы, давно устоявшиеся представления об особенностях этого оригинальнейшего мастера слова.

Он писал в одной из статей: «Есть в мире два знания: одно только удивляет, другое очаровывает».

Творчество самого Платонова нас и удивляет, и очаровывает. Не только магией слова и неповторимостью, но и тем, что произведения, написанные, как говорится, на злобу дня в эпоху 20 — 30-х годов и пришедшие к читателю всего несколько лет назад (имею в виду «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур», пьесу «14 красных избушек»), стали актуальными для нашего времени. И, надо полагать, останутся такими же и для будущих поколений, пока в мире существуют по соседству высокие идеи и низменные инстинкты, свобода и неволя, честность и лицемерие, песня и стон.

Вообще, надо заметить, что для Платонова как бюрократ-чиновник, так и торгаш — два врага, воплощающие все мертвое, бездуховное, лишенное творческой созидательной энергии. Первого писатель с убийственным сарказмом развенчивал («Город Градов», «Государственный житель», «Усомнившийся Макар», «Котлован», «Чевенгур»), второго — как носителя делячества — он презирал, противопоставляя ему одухотворенных тружеников («Свежая вода из колодца», «Ювенильное море», «В прекрасном и яростном мире»). Разрабатывая в своем творчестве великие «котлованы» души и духа народной жизни, Платонов зорко подмечал, как складывающиеся в стране обстоятельства нередко коверкали прекрасные задатки у людей, извращали естественное развитие бытия, усиливали бездушный «автоматический рост государственного счастья» за счет притеснения членов этого государства.

И все-таки он верил в силу нашего многострадального народа, несмотря на все изломы и превратности судьбы, «... И голодно, и болезненно, и безнадежно, и уныло, но люди живут, обреченные не сдаются, больше того: массы людей, стушеванные фантасмагорическим, обманчивым покровом истории, то таинственное, безмолвное большинство человечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существование,— все эти люди, оказывается, обнаруживают способность бесконечного жизненного развития— с удивлением и радостью замечал Платонов, опровергая тем самым всяческие упреки в безысходном, пессимистическом мировосприятии, которое ему приписывали. Такая вера помогала писателю в повседневности видеть вечное, помогала в любых ситуациях помнить «напряженное сочувствие между людьми».

Николай КУЗИН

ЕКАТЕРИНБУРГ

«Антинародный» Платонов и «безродные космополиты»

Вероятно, тревожные и всякие прочие предчувствия не слишком докучали мрачнейшему мастеру А. Гурвичу, когда он в 30-е годы клеймил позором очередного литературного отщепенца или же, напротив, воскуривал фимиам избранному соратнику по соцреализму. Иначе, уловив какой-нибудь из этих тайных сигналов души, он непременно споткнулся бы, выписывая длинный ряд порочных с его точки зрения, слов, коими изобиловали произведения Андрея Платонова: «Безвестный, бездомный, беззащитный, беспризорный, безродный...» Безродный! Вот здесь-то и надобно было споткнуться жизнелюбивому ортодоксу Абраму Гурвичу и пересмотреть свое отношение к данным словам, ибо уже через десять с небольшим лет он бесследно сгонется под тяжестью громыхающего железом ярлыка «безродный космополит», привешенного былыми друзьями по идеологическим схваткам, и в полной мере ощутит себя именно безвестным, бездомным и беззащитным...

Но тогда, в сентябре 37-го, критик беспечно продолжил ряд и уличая жертву, решительно приписал: «Вот слова, которыми густо усеяны все страницы всех книг Платонова, потому что слова эти являются вершинами его чувств и идей. Может ли художественное произведение, состоящее из бесконечных «без» и «не», быть жизнеутверждающим и излучать настоящий оптимизм?» Ну, а какое могло быть отношение к пессимизму в те годы?..

Собственно, Андрея Платонова давно нельзя было назвать случайной жертвой — он был отлично пристрелянной, стабильной мишенью еще с конца 20-х годов. Обратившись под ходом в литературу большого самобытного художника, своим творчеством бросавшего вызов установкам РАППа, его идейные вожди и многочисленные надсмотрщики держали Платонова под неусыпным контролем. Напомним лишь некоторые факты.

Рассказ «Усомнившийся Макар», опубликованный в журнале «Октябрь» (№ 9, 1929), был встречен разгромной статьей самого генерального секретаря РАППа Л. Авербаха «О целостных масштабах и частных макарах», после чего редакция журнала спешно признала публикацию рассказа ошибкой. Известно и покаянное письмо А. Фадеева, тогдашнего редактора «Октября», суровой «музе» пролетарских писателей — Р. Землячке, в котором раскаивался недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина,— рассказ анархистский».

Вдохновленные разнузданным печатным доносом лидера РАППа, критики не стеснялись в терминологии. Так, небезызвестная Р. Мессер (травившая и других «попутчиков», в частности, М. Зощенко) писала: «Творческий метод Платонова реакционен, потому что реакционна его классовая идеология, идеология той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая стоит перед пролетарской революцией и не видит ее подлинного смысла» («Звезда», № 4, 1930).

Публикация рассказа-хроники А. Платонова «Впрок» («Красная новь», № 3, 1931) вызвала новый шквал упреков, обвинений и клеветы с далеко идущими политическими выводами. В статье с характерным названием «В чем «сомневается» Андрей Платонов» рапповец А. Селиванов писал: «Клеймив в предыдущих произведениях и выразив надежду, что «читатель сохранил в памяти обывательско-анархистствующую издевку Платонова над массами, строящими социализм, над диктатурой пролетариата»,— делает заключение: «Годы не изменили существа автора. Оно — все то же: обывательское, злобствующее, насквозь реакционное» («Литературная газета», 10.06.1931).

Постарались и земляки писателя — воронежский журнал «Подъем» (в сдвоенном номере за март-апрель 1932) напечатал статью Л. Плоткина «Классовая борьба на литературном фронте», в которой среди прочего говорилось: «В настоящее время певцы ликвидируемого кулачества выступают в роли юродствующих шутов, клеветически высмеивающих колхозное строительство. В этом смысле наиболее показательна «Бедняцкая хроника» А. Платонова, которую, конечно, следовало бы назвать «кулацкой хроникой».

Красноречивы и заголовки других статей: «Клевета» (И. Макарьев), «Под масную деревню» (Д. Хаунин), «Об одной кулацкой хронике» (А. Фадеев)...

С клеймом неблагонадежности А. Платонов был отлучен от печати почти на три года. Лишь после ликвидации РАППа и создания Союза советских писателей имя Платонова вновь появилось на журнальных страницах. Но мог ли он предполагать, что уже в недалеком будущем объявится ретивый продолжатель рапповского дела, который неустанно и с пристрастием наблюдал за его творчеством, делая надлежащие классовые выводы... И, дождавшись самого благоприятного момента (каким несомненно был 1937 год), опубликовал огромный исчерпывающий донос в форме литературно-критического очерка — сначала в журнале «Красная новь» (№ 10, 1937), а затем и в сборнике своих статей «В поисках героя» (Изд-во «Искусство», М.—Л., 1938). Как, наверное, догадался читатель, речь идет именно об А. Гурвиче, весьма влиятельном в ту пору и процветающем критике.

Возможно, лишь позднее, попав невзначай в руки ранее неизвестных и гонимых Гурвич смог оценить должным образом те качества Платонова, о которых он писал столь уничижительно, варьируя свои нападки на разные лады: «Платонов испытывает непреодолимую потребность говорить о тех и за тех, кто слаб и нем... Его неизменно влечет к обездоленным, брошенным людям (здесь со всей очевидностью прослеживается и общее неприятие известных свойств русской литературы.— **Е. О.**)... Потребность проливать слезы над чужим горем у Платонова настолько сильна и ненасытна, что он неутомимо и изощренно выворачивает свои воображения самые мрачные картины жизни, самые жалостливые положения. В этом отношении, подгоняемая болезненным состраданием, фантазия художника не знает и не хочет знать никаких ограничений».

Уже этих прелестных формулировок (говорящих, кстати, о полном непонимании природы творчества) было вполне достаточно, чтобы установить над Платоновым усиленную (и не только идейную) «опеку». Однако стремление Гурвича расставить до конца все политические акценты настолько сильно и ненасытно (выражаясь его же словами), что он «неутомимо и изощренно» подталкивает читателя к самым радикальным выводам:

«Жалость, которой Платонов обволакивает человека в своих рассказах о прошлом, несмотря на ее абсолютную пассивность и беспомощность, все же могла бы прозвучать как защита униженных и оскорбленных от старого, капиталистического строя, порождавшего нищету, сиротство, одиночество...

Но, прочитав произведения Платонова, относящиеся по своему содержанию к послеоктябрьскому времени («Усомнившийся Макар», «Сокровенный человек», «Впрок», «Город Градов», «Третий сын», «Бессмертие», «Фро», «Старики»), мы убеждаемся, что очень часто мишенью Платонова является не старая российская действительность, а революция и социалистическое общество.

Произведения эти различны... В некоторых из них советская действительность подвергается чудовищному извращению («Усомнившийся Макар», «Впрок», «Город Градов»). В других Платонов пытается найти точку пересечения между широкими путями революции и извилистыми тропинками, по которым скитаются его нищие и бродяги...»

Из этого следует, что «все беллетристические произведения Платонова... несут на себе печать единого, глубоко порочного и в то же время весьма устойчивого мироощущения автора». Одним словом, перед нами — не просто заблуждающийся писатель, а матерый классовый враг.

Травля такого масштаба и накала не могла, конечно, остаться незамеченной. Не зря же много повидавший на своем веку Семен Липкин в своих воспоминаниях отметил, что среди топтавших Платонова «клеветов» Фадеева «запомнился Гурвич, впоследствии несчастный, преследуемый космополит». И добавил: «Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича»...

Не все мемуаристы, однако, способны давать подобные объективные оценки. К примеру, в книге Александра Борщаговского «Записки баловня судьбы», посвященной обстоятельствам «борьбы с космополитизмом», о мрачной роли А. Гурвича в судьбе А. Платонова не только не сказано ни слова (это, допустим, право автора), но, наоборот, утверждается, что резкости Гурвича Платонов выслушивал «уважительно» (!). Вот уж во что невозможно поверить, судя хотя бы по вышеприведенным инсинуациям из статьи Гурвича. О том, что Платонов не испытывал к этому преемнику Авербаха особенно теплых чувств, говорит и его отповедь в «Литературной газете» (20.12.1937), где он недвусмысленно заявил: «Критический метод Гурвича крайне вульгарен и пошл... Я бы тоже сумел ответить Гурвичу в его же стиле и интонации, но не это время сейчас, не потому, что мы, очевидно, литературные противники, а потому, что мы с ним члены одного общества и одной страны».

Между тем в повествовании А. Борщаговского А. Гурвич представлен исключительно в розовых тонах — как «превосходный оратор, критик, снискавший уважение талантливейших писателей, от Шолохова и Фадеева до Олеши и Паустовского», и даже как «глубокий знаток и исследователь драматургии Н. Погодина, критик, понимавший новизну и красоту открытого Погодиным мира».

Разумеется, эта последняя характеристика дана с учетом того, что никто уже не станет отыскивать давно забытые труды А. Гурвича о никому не нужных теперь сочинениях Н. Погодина. Однако любопытна в объективности) ради стоит еще раз открыть книгу «В поисках героя», куда включена и статья «Второе рождение» о пьесе «Аристократы», датированная мартом 1935 года.

Посмотрим, что же так восхищает А. Борщаговского:

«Постройка Беломорско-Балтийского канала войдет в новую историю человечества как один из величайших актов подлинно социалистического гуманизма. Будущий историк классовой борьбы в СССР, дойдя до этого события, с удивлением и восторгом задержит свое перо»...

Увы, сейчас мы знаем в действительности, что означал этот величайший акт гуманизма, а потому нахчет удивления и восторга... Впрочем, постойте-ка! Уж не кроется ли за столь патетическим началом статьи какой-нибудь подвох? Кого, например, имеет в виду автор под «историком классовой борьбы»? Не грядущего ли Солженицына, задержавшего свое перо над лживой книгой о Беломорстрое, состряпанной веселым коллективом ведущих советских писателей? А раз так, то, быть может, А. Гурвич — провидец, вынужденный в годы сталинского террора писать на эзоповом языке (мало ли ныне обнаружилось таких умельцев)?..

О нет, читая статью дальше, мы убеждаемся в том, насколько далек был очередной воспеватель Беломорканала от какого-либо двоемыслия. Более того, любую цитату из «Второго рождения» можно смело вставлять в упомянутое коллективное творение о великой стройке — ввиду бесспорной и похвальной идентичности авторских идей и художественных средств.

Не станем утомлять читателя сопоставлением текстов: занятие это в наши дни малоперспективное. В то же время трудно удержаться от соблазна еще раз другой процитировать яркую, можно сказать, эталонную статью А. Гурвича.

«Десятки тысяч правонарушителей (здесь и далее выделено мной.— **Е. О.**) самых различных категорий: вредители из среды научной и технической интеллигенции, кулаки, церковные мракобесы (да-да, и священнослужители для Гурвича — не только «мракобесы», но и преступники! — **Е. О.**), полуподы из уголовных притонов — вся эта разношерстная армия озлобленных и изуродованных людей под руководством тридцати восьми чекистов в необычайно короткий срок была превращена в мощный трудовой коллектив, показавший миру чудеса строительных темпов и гениальное решение целого ряда труднейших технических проблем».

Лучшим комментарием к этим «чудесам» будет извлечение из солженицынского анализа в «Архипелаге ГУЛАГ» «коллективного зубоскального тома» о Беломорстрое: «Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку XX века, материковый канал, построенный «от тачки и кайла»,— несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника — на сорок веков назад!»

Ну, а другая цитата из Гурвича, пожалуй, комментария не требует: «... для писателей, для «инженеров душ» беломорско-балтийская эпопея является поистине стадионом (где сгинули бесследно десятки тысяч человек! — **Е. О.**) по изучению и улучшению человеческой породы».

Какое четкое, отметим, понимание задач классовой борьбы наряду с глубоким проникновением в суть творческого процесса! И тем более поразительно, что при такой, беззаветной идейной стойкости в 1949 году А. Гурвич был объявлен одним из главных «космополитов» и «непатриотом», т. е. чуть ли не «врагом народа», и оказался фактически предан друзьями по оружию.

Недоумевает и А. Борщаговский в «Записках баловня судьбы»— что почеловечески понятно, поскольку они были связаны многолетней дружбой, а в порогромной стате «Правды» их имена стояли рядом. Не совсем понятно другое — аргументация Борщаговского, умолчавшего о славных деяниях А. Гурвича на поприще идеологии, но выставившего на первый план него противоположное. И вот вопрос, который неизбежно рождает «баловень судьбы», что «Гурвич, знавший и любивший русское Глубже, чем его оппоненты, истовее»,— был причислен к «безродным космополитам»?

Можно, конечно, посочувствовать А. Борщаговскому, которому пришлось наблюдать, как вероломно топтали огонь любви к России, пылавший в сердце А. Гурвича. Но позволительно спросить — чем же подтверждалась эта любовь? Может быть, мы что-то упустили в упоминавшейся статье о Платонове? Что ж, откроем ее снова: «Вот вам какого абсурда, до какого тупика докатился Платонов, подменяя в своих произведениях мысли русского народа, классовое самосознание пролетариата и его своевую революционную партию рахитичными, убитыми жалостью нищими, блаженными великомучениками, косными и отчаявшимися людьми. Сознает ли Платонов, на чью мельницу льет он нескончаемые потоки слез?»

Не здесь ли узрел Борщаговский «истовое» знание русского народа и его вековых милосердных традиций?..

Или, может быть, в нижеследующем политическом приговоре (где в силу его особой важности Гурвич выделил к каждое слово)?

«Платонов не народен именно потому, что в его произведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и стремления огромных масс русского народа. Платонов антинароден, поскольку истинные качества русского народа извращены в его произведениях».

... Да, трудно, трудно верится, что такое было возможно. Справедливость восторжествовала, но есть все же какая-то зловещая ирония в том, что душитель «антинародного» Платонова угодил со временем в «безродные космополиты». Размышляя об этом косвенном возмездии и более испытывая чувство горечи, нежели злорадства,— невольно задаешься вопросом: а не такой же еще, как не космополитами — в подлинном, а не карикатурно-агитпроповском значении,— именно и были все эти несгибаемые борцы, от рядовых борцов до их преемников и наследников?

Вопрос этот, однако,— из разряда риторических. Ибо нет нужды сегодня доказывать, какой воистину антинародный характер носила смертоносная травля крупнейших мастеров русской литературы.

Евгений ОВАНЕСЯН